



ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ТУРГЕНЕВ

*ВЕШНИЕ ВОДЫ
НАКАНУНЕ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Иван Тургенев

Вешние воды. Накануне (сборник)

«Издательство АСТ»

1872, 1859

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Тургенев И. С.

Вешние воды. Накануне (сборник) / И. С. Тургенев —
«Издательство АСТ», 1872, 1859 — (Эксклюзив: Русская
классика)

ISBN 978-5-17-113816-5

В этот сборник вошли роман «Накануне» и повесть «Вешние воды» – две замечательные истории о любви. В романе «Накануне» молодая аристократка из богатой семьи готова не задумываясь порвать с семьей, обществом и родиной, чтобы последовать за возлюбленным – болгаринном, готовым отдать жизнь за освобождение родины от турецкого владычества. В повести «Вешние воды» молодому человеку, путешествующему по Европе, предстоит сделать судьбоносный выбор между чистым и светлым чувством к красавице-невесте и темной, колдовской страстью к хищной «роковой женщине». Еще современники восхищались талантом Тургенева писать о любви умно и тонко, лирично, но без приторной сентиментальности, – и этот талант, поражающий и притягивающий и современного читателя, в полной мере наполняет вошедшие в сборник произведения.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-113816-5

© Тургенев И. С., 1872, 1859
© Издательство АСТ, 1872, 1859

Содержание

Вешние воды	6
I	8
II	9
III	11
IV	13
V	14
VI	16
VII	18
VIII	20
IX	21
X	22
XI	24
XII	25
XIII	26
XIV	27
XV	28
XVI	30
XVII	33
XVIII	36
XIX	38
XX	40
XXI	41
XXII	43
XXIII	47
XXIV	50
XXV	53
XXVI	56
XXVII	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Иван Сергеевич Тургенев

Вешние воды. Накануне

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Вешние воды

*Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!*

Из старинного романа

... Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечи, — и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом, пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море: нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит: и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большей частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьми-

угольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик – и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же – и весь измененный годами.

Он встал – и, возвратясь к камину, сел опять в кресло – и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» – думалось ему – и вспомнил он многое, давно прошедшее.

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул двадцать второй год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей – и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; г-да туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»; но дилижанс отходил только в одиннадцатом часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная – и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» – и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами – в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками на высоком плетеном стуле возле окна, – и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял – и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» – В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась – и Санину поневоле пришлось изумиться.

II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой – и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему – и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» – что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый – белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, – мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат.

Глаза его были закрыты, тень от черных, густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

– Он умер, он умер! – вскричала она, – сейчас он тут сидел, говорил со мною – и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? – прибавила она вдруг по-итальянски: – Ты ходил за доктором?

– Синьора, я не ходил, я послал Луизу, – раздался хриплый голос за дверью, – и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей – сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

– Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, – продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, – а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

– Но Эмиль пока умрет! – воскликнула девушка и протянула руки к Санину. – О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

– Надо ему кровь пустить – это удар, – заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

– Это обморок, а не удар, – проговорил он, обратясь к Панталеоне. – Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

– Что?

– Щетки, щетки, – повторил Санин по-немецки и по-французски. – Щетки, – прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

– А, щетки! Spazzette! как не быть щеток!

– Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук – и станем растирать его.

– Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

– Нет... после; ступайте поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина – как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки – и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой – головной щеткой – по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер – а сам искоса поглядывал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновою костью или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, – и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, – даже теперь, когда испуг и горе омрачили их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

– Снимите по крайней мере с него сапоги, – хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы – и принялся лаять.

– Tartaglia – canaglia!¹ – зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

– Эмиль!... – крикнула девушка. – Эмилио mio!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались – слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою – и с размаху положил ее себе на грудь.

– Эмилио! – повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

– Эмиль! Что такое? Эмиль! – послышалось за дверью – и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

– Он спасен, мама, он жив! – воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

– Да что такое? – повторила она. – Я возвращаюсь... и вдруг встречаю господина доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя – и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

– Вы, я вижу, его растирали щетками, – обратился доктор к Санину и Панталеоне, – и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... – Он пощупал у молодого человека пульс. – Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза – и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

¹ Тарталья – каналья! (ит.)

– Вы уходите, – начала она, ласково заглядывая ему в лицо, – я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны – вы, может быть, спасли брата – мы хотим благодарить вас – мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

– Но я уезжаю сегодня в Берлин, – заикнулся было Санин.

– Вы еще успеете, – с живостью возразила девушка. – Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

– Приду, – отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон – и он очутился на улице.

IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», – так как субъект темперамента нервного и с наклонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, – огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах, с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия – и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули – и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык – так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» – также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio» – но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее – Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец – «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли – не вполне умел уловлять сходство – ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригадиром – вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачивая головою, что у ней только и осталось, что вот *эта* дочь да вот *этот* сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына – Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети – особенно Эмилио... («Я не послушна?» – ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» – ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand' uomo!» – с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

V

Джемма слушала мать – и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец, она встала, обняла и поцеловала мать в шею – в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долгое пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччеуббио!»² – обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве – ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!»³. Эмилио, видимо, нежилась и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и кроме того, по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой – и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать – о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике – и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»⁴ – А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» – фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные – но гостеприимство чрезвычайное, и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, – спел тоненьким носовым тенорком сперва: «Сарафан», – потом: «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (*sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau*⁵ – он так передал смысл оригинала) – не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг – фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» – «o, vieni»⁶, «со мной» – «siam

² Проклятый плут! (нем. verfluchte Spitzbube).

³ Тосканский язык в римских устах! (ит.).

⁴ Красоты искусства (ит.).

⁵ По замощенной улице молодая девушка шла за водой (фр.).

⁶ О, приходи (ит.).

poi»⁷ и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

⁷ Это мы (*ит.*).

VI

Но не голосом Джеммы – ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма – даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, – не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза – ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстук, слушал важно, с видом знатока, – даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему – а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэтино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), – и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя – да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы – не чета теперешним пискунам! – и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатолы из Варезе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский – «il principe Tarbusski», – с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта – il paese del Dante! – Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился – и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

– Вот был человек! – воскликнул он. – Никогда великий Гарсиа – «il gran Garcia» – не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки-тенорасси – фальцетом: всё грудью, грудью, voce di petto, sì!⁸. – Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо. – И какой актер! Вулкан, signori miei⁹, вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе в нем в опере dell'illustrissimo maestro¹⁰ Россини – в Отелло! Гарсиа был Отелло – я был Яго – и когда он произносил эту фразу... – тут Панталеоне стал в позитуру и запел дрожащим и сиплым, но все еще патетическим голосом:

L'ì... ra daver... so daver... so il fato
lo più no... no... no... non temerò!¹¹

– Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'ì... ra daver... so daver... so il fato
Temèr piú non davro!¹²

И вдруг он – как молния, как тигр:

⁸ Грудным голосом, да (ит.).

⁹ Господа мои (ит.).

¹⁰ Знаменитейшего маэстро (ит.).

¹¹ Гнева... судьбы... Я больше не буду бояться! (ит.)

¹² Гнева... судьбы... Бояться я больше не должен! (ит.)

Morro!... ma vendicato...¹³

Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из «Matrimonio segreto»: *Pria che spunti...*¹⁴ Тут он, il gran Garcia, после слов: *I cavalli di galoppo*¹⁵ – делал на словах: *Senza posa cacciera*¹⁶ – послушайте, как это изумительно, *com'è stupendo!*¹⁷ Тут он делал... – Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру – и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» – Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» – подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. *Cet âge est sans pitié* – этот возраст не знает жалости, – сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) – заговорил о «*paese del Dante, dove il si suona*»¹⁸. Эта фраза вместе с «*Lasciate ogni speranza*»¹⁹ составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, – ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, – обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедий Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!». Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец – «молчать, дескать!» – чисто итальянский жест – и принялась читать.

¹³ Умру!... но отомщенный... (ит.)

¹⁴ «Тайного брака»: Прежде чем взойдет... (ит.)

¹⁵ Скаковые лошади (ит.).

¹⁶ Без передышки будет гнать (ит.).

¹⁷ Как великолепно! (ит.)

¹⁸ «Стране Данте; где звучит слово «да» (ит.).

¹⁹ «Оставь надежду, всяк» (ит.).

VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил, с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, – местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно – совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянской кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она, когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, – корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о *quel ferroflucto Tedesco*²⁰), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, – она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, – и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался – она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц – так называемых «*jeunes premieres*»²¹, особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости – словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался – по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, – и только тогда вспомнил о предстоящем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула как ужаленный.

– Что с вами? – спросила фрау Леноре.

– Да я должен был сегодня уехать в Берлин – и уже место взял в дилижансе!

– А когда отходит дилижанс?

– В половине одиннадцатого!

– Ну, так вы уже не успеете, – заметила Джемма, – оставайтесь... я еще почитаю.

– Вы все деньги заплатили или только задаток дали? – полюбопытствовала фрау Леноре.

– Все! – с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищулив глаза, – и рассмеялась, а мать ее побранила:

– Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

– Ничего, – отвечала Джемма, – это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца – и все опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

– Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, – сказала ему Джемма, – куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет. – Она помолчала. – Право, не будет, – прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

– Оставайтесь, оставайтесь, – промолвила и фрау Леноре. – Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клубером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень

²⁰ Какомто проклятом немце (*ит. и нем.*).

²¹ «Героинь» (*фр.*).

занят у себя в магазине... вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие – бог ведает почему – слегка огорошило. «Счастливчик этот жених!» – мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму – и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться.

– До завтра? Не правда ли, до завтра? – спросила фрау Леноре.

– До завтра! – произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

– До завтра! – отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

– Как ей не стыдно! Кривляется, пищит – una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру – нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, – прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

– Невеста! – шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. – Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо берлинскому приятелю.

VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина, с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клубер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клубер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью – немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), – но все-таки пленительной изящностью его манер. С первого взгляда становилось ясно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клубер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблук о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества – первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности выложенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) – отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, – превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдил и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клубер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была мало-важная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клубер поблагодарил – и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, – но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости – и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин – дела прежде всего! – но так как завтра воскресенье – то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, – и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить – и герр Клубер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наиновейших сапогов.

IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну, даже после приглашения Санина «присесть», – сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, – и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, – прибавил он, – но доктор запретил мне работать».

– Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, – воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его – и в самое короткое время совершенно освоился и с ним и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину – и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца – а он *знает*, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр – его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клубер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торговца принадлежит собственно г-ну Клуберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren- oder Russen-Preise» (дурацкие – или русские цены) – вот его идеал!²²

– Ну, что ж! теперь надо идти к нам! – воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

– Теперь еще рано, – заметил Санин.

– Это ничего не значит, – промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. – Пойдемте! Мы завернем на почту – а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

– Ну, пойдемте, – сказал Санин, и они отправились.

²² В прежние времена – да, пожалуй, и теперь это не перевелось – когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте – во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen» – или увы! – «Narren-Preise». – *Примеч. авт.*

Х

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

– Не забуду, – отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью – и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не уменьшился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри – взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, – и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные шторы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе, – и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клуберу – практиковаться в бухгалтерии, – он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции, – он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

– Коли ты художник – и особенно певец, – утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, – будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места? – Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, позволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета), – Панталеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать *d'un certo estro d'ispirazione* – неким порывом вдохновения! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «*estro*», – а между тем...

– Я имел врагов, – сумрачно заметил Панталеоне.

– Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «*estro*»?

– Ну так сделайте из него торгаша, – с досадой промолвил Панталеоне, – а Джиован'Баттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

– Джиован'Баттиста, муж мой, был человек благоразумный – и если он в молодости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не хотел – и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

– А! Джиован'Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, – то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью – но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку по крайней мере брата – и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау

Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить – и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полуплутивым, полутронутым тоном – какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь – прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери – и, медленно опуская кайму сверху вниз, – обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась. Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноры были действительно очень красивы) – и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней – но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец, фрау Леноре объявила, что устала. Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле – а мы с господином русским – «avec le monsieur russe» – будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши... «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам – другою она поддерживала подушку за головою матери – и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер – и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы – и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым, усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом *он* тут?

XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» – заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

– Сколько с него? – шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

– Шесть крейцеров! – таким же шепотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» – подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий – полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом; между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости – молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

– У мамы во время сна мигрень проходит, – заметила она.

Санин заговорил – конечно, по-прежнему, шепотом – о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренне и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»; «Durch die Felder, durch die Auen...»²³ Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку – и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улынувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали.

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебели, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

²³ «Через поля, через долины...» (нем.)

XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным! Фантастически-гуманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей писано!» – уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречается девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновение – и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натывается на самые свежие их следы, гоняется за ними – и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него – и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такую она сложилась, такую осталась в памяти Джеммы.

– Мне кажется, – промолвила она, – подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

XIII

Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести – и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма? Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Улановом романсе, несет их по жизненным укрошенным струям – радуйся, наслаждайся, путешественник! И все казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре – обыграла его на несколько крейцеров – и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталья проделывать все свои шутки – и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал; запирали дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина – и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне – и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза – и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на *каком* французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и шурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!»²⁴ – закричал, наконец, Наполеон, позабыв, в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер, – и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись – и Санин больше всех.

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваниями... Санина так и разбирало от этого смеха – расцеловал бы он ее за эти взвизгивания!

Ночь наступила, наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколько раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, – но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, – словом, о всем том, что волновало его накануне, – он не подумал ни разу.

²⁴ Вон, предатель! (*ит.*)

XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи – а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье – и мягкость, мягкость, мягкость, – вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах, – или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, – видели в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клубер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клубер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно – и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландо, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми, лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клубер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

– Мне никого не нужно, – уверяла она, – я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила – да некому будет торговать.

– Можно взять Тарталью? – спросил Эмиль.

– Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти все лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой – тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клубер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна. Джемма махнула ей платком – и лошади тронулись.

XV

Соден – небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. *Она* держалась спокойно и просто – но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; *он* смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «*empressement*»²⁵, Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клубер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, все с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрял также поведения одной птицы – зяблика, – которая не довольно разнообразила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы – Санин в ней не узнавал: не то, чтобы тень на нее набежала – никогда ее красота не была лучезарней, – но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша, – как гуляют образованные девицы – и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал – и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо! Г-н Клубер, с своей стороны, сделал все, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба – и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «*Knallerbsen oder du sollst und wirst lachen!*» (Петарды, или Ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клубер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой – и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клубер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке – «*im Gartensalon*»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть все с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новопривывших гостей.

Пока г-н Клубер, снисходительно покорившись «капризу своей невесты», ходил советоваться с обер-кельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее – это, казалось, ее сер-

²⁵ Услужливость (фр.).

дило. Наконец, г-н Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет – и сложен превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда – и все общество уселось за столик.

XVI

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клюбер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (Was wir lieben!) Уж очень все было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное – и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке – гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установлена бутылками – приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и принимали выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была – что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан) – и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос – и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился – и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!) – и тотчас же, строгим голосом подозвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь, – ее грудь резко и высоко поднималась – Джемма перевела глаза свои на г-на Клюбера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

– Встаньте, мейн фрейлейн, – промолвил все с той же строгостью г-н Клюбер, – здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою – и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась все величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клюбер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры, – и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновение давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу), – произнес отчетливо, по-французски:

– То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите, – и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

– Что, он родственник, брат или жених той девицы?

– Я ей совсем чужой человек, – воскликнул Санин, – я русский – но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: господин офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Донгоф, тише!» (Dönhof, sei still). Потом сам приподнялся – и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном – и поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с гг. офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое – клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга.

Кучер, наконец, заложил лошадей; все общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (*das bürgerliche Element in der Societät*) – и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) – печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговееет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет – но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распушенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клюбером – оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, – Джемма явно стала стыдиться

своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала, и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны, он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клюбера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта *partie de plaisir*²⁶ прекратилась, наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клубер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство – чувство неловкости – скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал – и был очень доволен собою.

²⁶ Увеселительная прогулка (*фр.*).

XVII

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до десяти часов утра, – размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет, – а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробил, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (*der Herr Seconde Lieutenant*) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица – но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение – и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Донгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин – барон фон Донгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, все так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры? Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к черту, возьму в секунданты?» – думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовал угрызение совести, – и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Донгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии – и потому удовлетворился бы легкими извинениями – *«des exghizes léchères»*²⁷. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

– В таком случае, – возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более, – надо будет поменяться дружелюбными выстрелами – *des gouns de bisdolet à l'amiaple!*²⁸

– Этого я уже совершенно не понимаю, – заметил Санин, – на воздух нам стрелять, что ли?

– О, не то, не так, – залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик, – но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом, – перебил он самого себя – и удалился.

Санин опустил на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг стушеввалось, пропало – и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и напевала:

Подпоручик!
Мои огурчик!
Мой амурчик!
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

– Однако надо действовать, не терять времени, – воскликнул он громко – вскочил и увидел перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

²⁷ Легкие извинения (искажен. *фр.*: *des excuses légères*).

²⁸ Дружелюбными пистолетными выстрелами (*фр.*: *des coups des pistolet à l'aimable*).

– Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет, – промолвил старик и подал ему записку. – От синьорины Джеммы.

Санин взял записку – как говорится, машинально, – распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

– Синьорина беспокоится, – начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки, – она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца – и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

«Однако... почему же нет?» – спросил он самого себя.

– Господин Панталеоне! – произнес он громко. Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстук и уставился на Санина.

– Вы знаете, – продолжал Санин, – что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом.

– Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему все.)

– А! знаете! Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите *вы* быть моим секундантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

– Вы непременно должны драться? – проговорил он, наконец, по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

– Непременно. Иначе поступить – значило бы опозорить себя навсегда.

– Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты, – то вы будете искать другого?

– Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

– Но позвольте вас спросить, синьор де-Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблагоприятную тень на репутацию одной персоны?

– Не полагаю; но, как бы то ни было – делать нечего.

– Гм. – Панталеоне совсем ушел в свой галстук. – Ну, а тот феррофлукто Клуберио, – что же он? – воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху.

– Он? Ничего.

– Кэ! (Che!)²⁹ – Панталеоне презрительно пожал плечами. – Я должен во всяком случае благодарить вас, – произнес он, наконец, неверным голосом, – что вы и в теперешнем моем унижении умели признать во мне порядочного человека – *un galant'uomo*! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим *galant'uomo*. Но я должен обдумать ваше предложение.

– Время не терпит, любезный господин Чи... чиппа...

– Тола, – подсказал старик. – Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И потому я должен, я обязан – подумать!.. Через час... через три четверти часа – вы узнаете мое решение.

– Хорошо; я подожду.

– А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам – и все объяснится. Душевно вас благодарю за участие» – и вручил этот листик Панталеоне.

²⁹ Итальянское восклицание вроде нашего: ну! – *Примеч. авт.*

Тот бережно положил его в боковой карман – и, еще раз повторив: «Через час!» – направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку – и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул:

– Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) – позвольте слабому старцу (a un vecchiotto!) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!). – Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками – и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

XVIII

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатола, из Варезе, придворный певец (*cantante di camera*) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстук он повязал еще шире и выше обыкновенного – и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (*oeil de chat*). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

– Я ваш секундант, – промолвил Панталеоне по-французски – и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры. – Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

– Зачем же без пощады, дорогой мой господин Чиппатола! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад – но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника. Я уйду в соседнюю комнату – а вы с ним и условитесь. Поверьте, я ввек не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

– Честь прежде всего! – отвечал Панталеоне и опустил в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. – Если этот феррофлюкто спичебуббио, – заговорил он, мешая французский язык с итальянским, – если этот торгаш Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или трусил, – тем хуже для него!.. Грошовая душа – и баста!.. Что же касается до условий поединка – я ваш секундант и ваши интересы для меня священны!.. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов – и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундант скоро должен прийти?

– Я жду его каждую минуту – да вот он сам и идет, – прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, все такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

– *Monsieur Richter, souslieutenant! – Monsieur Zippatola, artiste!*³⁰

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры – и он разыгрывал роль секунданта, именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

– Что ж? Приступим! – первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

– Приступим, – ответил подпоручик, – но... присутствие одного из противников...

– Я вас немедленно оставлю, господа, – воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню – и запер за собою дверь.

³⁰ Господин Рихтер, подпоручик! – Господин Чиппатола, артист! (*фр.*).

Он бросился на кровать – и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принципе Тарбуски – подпоручик об «exghizes léchères» и о «goups à l'amiaple». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale piu que toutt le zouffissié del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Подпоручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

– В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! – воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось, наконец, следующими условиями: «стреляться барону фон Донгофу и господину де Санину на завтрашний день, в десять часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами; пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto!»³¹ Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предвзительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищутив глаз, прошептал два раза сряду: «Segredezza!» (Таинственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы, – правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.

³¹ Браво, русский! Браво, мальчик! (ит.)

XIX

Эмиль выбежал навстречу Санину – он более часа караулил его приход – и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин, но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив все это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать – и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что все дело кончилось... сущими пустяками.

– У вас никого не было сегодня? – спросила она.

– Было у меня одно лицо – мы с ним объяснились – и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавок.

«Не поверила она мне!» – подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

– Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

– Тсссс... – прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь. – Не говорите этого... громко.

– Но о чем же вы плакали?

– Ах, моесь Санин, сама не знаю о чем!

– Вас никто не огорчил?

– О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Джиован'Баттиста... свою молодость... Потом, как это все скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой, – и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде... а старость – вот она... вот она! – На глазах фрау Леноры показались слезинки. – Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанный старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте – и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстук! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такой твердостью хранит этот человек?

Но – *segredazza! segredazza!*

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские – самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» – думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то, чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она

решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею – тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке – и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила, наконец, необычность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

– Ничего, – ответила Джемма, – ты знаешь, я бываю иногда такая.

– Это точно, – соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вяло – ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе – Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться – или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он крепко стиснул ей руку – и попытался заглянуть ей в лицо – но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

XX

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько же их высыпало, этих звезд – больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад – и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходявших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось – на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура – и он услышал, что его зовут:

– Monsieur Dimitri!

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.

– Monsieur Dimitri, – начала она осторожным голосом, – я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему – и Джемма ухватила обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц промчался прочь вызвавший вихрь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидел над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза – такую красавицу увидел он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, – и только мог проговорить:

– О Джемма!

– Что это было такое? Молния? – спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

– Джемма! – повторил Санин.

Она вздохнула, оглянулась назад, в комнату, – и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

– Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

XXI

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал – не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась – это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк – и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развешенную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу – и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

Кто-то потрепал его по плечу... Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

– Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! – воскликнул старик.

– Да который час? – спросил Санин.

– Семь часов без четверти; до Ганау – два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

– А пистолеты где?

– Пистолеты привезет тот феррофлюкто тедеско. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, – с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

– Однако что это мы делаем, боже мой, *santissima Madonna!*³² – воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. – Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, *frenetico?*

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талию, напомнил ему французскую поговорку: «*Le vin est tiré – il faut le boire*»³³ (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

– Да, да, – отвечал старик, – эту чашу мы разопьем с вами, – а все же я безумец! Я – безумец! Все было так тихо, хорошо... и вдруг: та-тата, тра-та-та!

– Словно *tutti*³⁴ в оркестре, – заметил Санин с натянутой улыбкой. – Но виноваты не вы.

– Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это... необузданный такой поступок. *Diavolo!* *Diavolo!*³⁵ – повторил Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета все катилась да катилась.

³² Пресвятая Мадонна! (*ит.*)

³³ Вино откупорено – надо его пить (*фр.*).

³⁴ Все (*ит.*).

³⁵ Вот черт! Вот черт! (*ит.*)

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживать, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу – сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

– Да разве он знает что-нибудь? – обратился он к Панталеоне.

– Я же вам говорю, что я безумец, – отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, – этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя – и я ему сегодня утром, наконец, все открыл!

«Вот тебе и *segredizza*!» – подумал Санин. Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.

– Что вы здесь делаете? – строго спросил его Санин, – зачем вы не дома?

– Позвольте... позвольте мне ехать с вами, – пролепетал Эмиль трепетным голосом – и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. – Я вам не помешаю – только возьмите меня!

– Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, – промолвил Санин, – вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клуберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

– Вашего возвращения, – простонал Эмиль, – а голос его зазвенел и оборвался, – но если вас...

– Эмиль! – перебил его Санин и указал глазами на кучера, – опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам – и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

– Тоже благородное сердце, – пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновением все более изумлялся: неужели это *он* взаправду сделался секундантом, и лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку, нашел настоящее слово.

– Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где – *il antico valor*?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

– *Il antico valor*? – провозгласил он басом. – *Non è ancora spento* (он еще не весь утрачен) – *il antico valor*!!

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа – и приехал в Ганау – молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее слова!

XXII

Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетающими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятностям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» – мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне – тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съезженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось, наконец, рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! – и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспаным лицом – военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою – на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев – по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Донгоф вертел в руке – вероятно, для «шику» – небольшой хлыстик.

– Панталеоне! – шепнул Санин старику, – если... если меня убьют— все может случиться, – достаньте из моего бокового кармана бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него – и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел – и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъятий рыцарской вежливости». Г-н Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать...»

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновение...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатолла отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (*unparteiischer Zeuge*) – но так как у них такового не имеется – то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял из всей речи г-на фон Рихтера – тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «*A la-la-la... Che bestialità! Deux zeun' hommes comme ça qué si battono – perche? Che diavolo? Andate a casa!*»³⁶.

– Я не согласен на примирение, – поспешно проговорил Санин.

– И я тоже не согласен, – повторил за ним его противник.

– Ну так кричите: раз, два, три! – обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.

Тот немедленно опять нырнул в куст – и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажав глаза и отвернув голову, но во все горло:

– *Una... die... e tre!*³⁷

Первый выстрелил Санин – и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Донгоф выстрелил тотчас вслед за ним – преднамеренно в сторону, на воздух.

Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.

– Прикажете продолжать? – проговорил Донгоф.

– Зачем вы выстрелили на воздух? – спросил Санин.

– Это не ваше дело.

– Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? – спросил опять Санин.

– Может быть; не знаю.

– Позвольте, позвольте, господа... – начал фон Рихтер, – дуэлянты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.

– Я отказываюсь от своего выстрела, – промолвил Санин и бросил пистолет на землю.

– И я тоже не намерен продолжать дуэль, – воскликнул Донгоф и тоже бросил свой пистолет. – Да сверх того я теперь готов сознаться, что я был не прав – третьего дня.

Он помялся на месте – и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему – и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга – и лица у обоих покрылись краской.

– *Bravi! bravi!* – внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина – и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.

– Честь удовлетворена – и дуэль кончена! – провозгласил фон Рихтер.

– *Fuori!* (фора!) – по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического

³⁶ А лалала... Что за зверство! Два молодых человека дерутся – зачем? Что за дьявол! Идите домой! (*ит. и фр.*)

³⁷ Раз... два... и три! (*ит.*)

доктора, вспомнил, как он улыбнулся – то есть сморщил нос, когда увидел его выходявшего из лесу чуть не под руку с бароном Донгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клюбери? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне – просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем – и слышать не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы – со статуей командора в «Дон Жуане»! Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, – заметил он, – у меня натура нервная, а вы – сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста.

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля, – он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы – и так и впился в Санина.

– Вы живы, вы не ранены! – твердил он. – Простите меня, я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Я ждал вас здесь... Расскажите мне, как это было? Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглазово, с видимым удовольствием сообщил ему Панталеоне все подробности поединка, и уж, конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопырив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо, – воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта – и остановились, наконец, перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж – как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниним, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу – и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

– Разве фрейлейн Джемме было известно... – протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

– Я принужден был ей все сказать, – пролепетал он, – она догадывалась – и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не значит, – подхватил он с живостью, – все так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

– Какие вы, однако, болтуны оба! – промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

– Не сердитесь, пожалуйста, – взмолился Эмиль.

– Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился – да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

– Превосходная мысль! – воскликнул Панталеоне. – Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

XXIII

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клубер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, щелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

Раз... раз... раз!! – слышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался нему в дверь.

– Войдите! – крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» – мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью – фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

– Что с вами, моя добрая, милая госпожа Розелли? – начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. – Что случилось? успокойтесь, прошу вас.

– Ах, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

– Вы несчастны?

– Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

– Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

– Нет, благодарствуйте. – Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. – Ведь я все знаю! Все!

– То есть как же: все?

– Все, что произошло сегодня! И причина... мне тоже известна! Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «все» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидела вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

– Ваша дочь? – повторил он.

– Моя дочь, Джемма, – вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка, – объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клубера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

– Я уже не говорю о том, – продолжала фрау Леноре, – что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! – Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него все свое горе. – Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а господин Клубер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

– Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

– Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

– Позвольте, я вовсе не...

– Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, – продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развешивала платок и сморкалась. По

одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

– И как же будет господин Клубер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать? Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга с фисташками – и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это скандал, скандал! Джемма – прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравитурит мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего:

– Я, фрау Леноре?

– Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она поверит! Она *должна* вам поверить – вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя и всех нас погубит. Вы спасли моего сына – спасите и дочь! Вас сам Бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

– Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

– Вы обещаетесь?

– Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

– Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтоб я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянской кровью.

– Я сделаю все, что будет вам угодно! – воскликнул он. – Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

– Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

– Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! – промолвила фрау Леноре умоляющим голосом, – вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, я уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

– Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за господина Клубера? – спросил Санин после небольшого молчания.

– Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Джован'Баттиста! Бедовая!

– Бедовая? она?.. – протяжно повторил Санин.

– Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! – Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. – Примите благословение матери – и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы – и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытирачил.

«Вот, – подумал он, – вот *теперь* завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица – и basta! «Выдался денек! – невольно шептали его губы. – Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать – ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина – и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ,

который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

XXIV

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

– Я ждала, ждала вас, – проговорила она шепотом, попеременно обеими руками стискивая его руку. – Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко – был уже седьмой час вечера – и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горlinka – однообразно и неумолимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма, не торопясь, отвечала ему:

– Эти – поспелее, – промолвила она, наконец, – пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

– Можно подсесть к вам? – спросил Санин.

– Можно. – Джемма слегка подвинулась на скамейке.

Санин поместился возле нее. «Как начать?» – думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

– Вы дрались сегодня на дуэли, – заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом, – а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! – И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

– Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

– Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Панталеоне все сказал!

– Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статусей командора?

– Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И все это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

– Уверяю вас, фрейлейн Джемма...

– Я этого не забуду, – с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного – и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» – мелькнуло у него в мыслях.

– Фрейлейн Джемма... – начал он после мгновенного колебания.

– Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что!»

– Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

– Насчет?

– На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

– Она говорила с вами? – спросила она в свою очередь.

– Да.

– Что же она вам такое сказала?

– Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

– Какие намерения?

– Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

– То есть... Вы это говорите... о господине Клюбере?

– Да.

– Вам мама сказала, что я не желаю быть женою господина Клюбера?

– Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатились на дорожку. Прошла минута... другая...

– Зачем она вам это сказала? – слышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

– Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет – и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

– Какой же вы мне совет дадите, *monsieur Dimitri*? – спросила она погодя немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

– Джемма, – промолвил он, – отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу – и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову – и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

– Я вас слушаюсь, *monsieur Dimitri*, – начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, – но какой же совет дадите вы мне?

– Какой совет? – повторил Санин. – Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать господину Клуберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

– Только потому? – проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

– Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны – неблагоприятно; что это – такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

– Это все – мнение мамы, – перебила Джемма, – это – ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

– Мое? – Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. – Я тоже полагаю, – начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

– Тоже? Вы – тоже?

– Да... то есть... – Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

– Хорошо, – сказала Джемма. – Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения, – я подумаю. – Она, сама не замечая, что делает, начала переключать вишни обратно из тарелки в корзину... – Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас...

– Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

– Я вас послушаюсь, – повторила Джемма, а у самой брови все надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу. – Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я скажу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

– Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, – торопливо, почти с испугом произнес Санин. – Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки – и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо нее, приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное – и скрылся.

Она подошла к дочери.

– Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

– Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Леноре, что выражение Джеммина лица было далеко не печальное, скорее радостное.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты у меня никогда не плачешь – и вдруг...

– Ничего, мама, ничего! только вы подождите! Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра – и давайте разбирать вишни, пока солнце не село.

– Но ты будешь благоразумна?

– О, я очень благоразумна! – Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

XXV

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится, наконец, что с ним, что с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, – он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» – и весь внутренне зарделся, как уголь, с которого внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! – и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду все решило. Теперь, когда он думал о ней, она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд, – он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу – и смотрит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебежали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее – и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток – и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи улановского романа, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед – и он летит с ними!

Он взял лист бумаги – и без пометки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, – но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, – это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня – он еще только тлел во мне – а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, – между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю – и больше нет у меня ничего – ни в уме, ни в сердце!!

Дм. Санин».

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... «Нет! так неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми – неловко тоже. Притом уже ночь на дворе – и он, пожалуй, уже ушел из магазина». Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой – и, к неописанной своей радости, увидел перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», – подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать... Эмиль слушал внимательно.

– Чтобы никто не видел? – спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: «Мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!»

– Да, мой дружок, – проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке... – И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

– Уж об этом не беспокойтесь! – весело шепнул Эмиль, побежал прочь – и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой – и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанный любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал – тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась – показалась голова Эмиля.

– Принес, – сказал он шепотом, – вот он, ответ-то!

Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.

Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия – даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя – если б мог!

Он подошел к окну – и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, – прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас – *целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться*. Мне это нужно, непременно нужно – а там все будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку – о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! – подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, – громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

– Что прикажете?

– Послушайте, дружок...

– Monsieur Димитрий, – перебил его Эмиль жалобным голосом, – отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

– Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия), – послушай: *там*, ты понимаешь, *там* ты скажешь, что все будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою), – а сам... Что ты делаешь завтра?

– Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?

– Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, – и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

– Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами – да это просто чудо! Приду непременно!

– А если тебя не отпустят?

– Отпустят!

– Слушай... Не сказывай *там*, что я тебя звал на целый день.

– Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.

А Санин долго ходил по комнате – и поздно лег спать. Он предавался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», – думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму – и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

XXVI

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, объявился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность. Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клюбером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему – и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились – пешком, разумеется, – в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недалеком расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел в зеленых листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких, круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес – и долго там проплутали; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбрал их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком, сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника – и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, – и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо – не то, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «чихать», – только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы, – и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал – а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, – и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами. И этот лик – не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал, наконец, *его* час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются – увидало его божество – и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!! Он думает об этом завтрашнем дне – и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение – и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем – и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что – если б кто-нибудь на

свете знал??!! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Тартальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, – он внезапно видит перед собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, гг. фон Донгофа и фон Рихтера! Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку – и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.

– Будут меня бранить, – говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним, – ну да все равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание – на следующий день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный – и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный, изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, – напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами... «Итальянки, – думал он, – вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...»

Но придет время – и оно недалеко...

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит...

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.

XXVII

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра – точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... в саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму – и, однако же, сердце в нем екнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновение спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону – и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

– Джемма, – проговорил он едва слышно. Она слегка кивнула ему – и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.